

ТОСКА ОЛЬГИ ИЛЬИНСКОЙ В “КРЫМСКОЙ” ГЛАВЕ РОМАНА “ОБЛОМОВ”: ИНТЕРПРЕТАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

© 2008 г. В. А. Недзвецкий

Критически рассмотрев традиционные объяснения *грусти-тоски* Ольги Ильинской, испытанной героиней “Обломова” (часть 4. гл. 8), казалось бы, на вершине ее семейного счастья с Андреем Штольцем, автор статьи предлагает новую, аргументированную трактовку этого особо значимого в знаменитом романе И.А. Гончарова эпизода.

Having critically analysed traditional interpretations of Olga Il'inskaya's *sorrow/grief* that the heroine of “Obломov” suffers when she seems to be on top of the world in her marriage to Andrey Shtolts the author of the article comes up with a new interpretation of this episode of the famous novel by Goncharov which is of a great importance to it.

Речь пойдет о восьмой главе из четвертой части произведения, где обрисован не счастливо разрешившийся для Ольги и Штольца их любовный “роман” (он воспроизведен в четвертой главе той же части и выстроен по аналогии с “поэмой изящной любви” [1, т. 6, с. 243], как Гончаров называл отношения Ольги и Ильи Ильича Обломова), а тот “образ жизни” [2, с. 68] положительных героев “Обломова”, который его автор утверждал в качестве подлинно гармонической жизненной “нормы”.

Выбор места жительства супругами Штольц (на южном берегу Крыма) внешне мотивирован деловыми интересами Андрея Ивановича в Одессе (от Крыма до нее недалеко) и здоровьем Ольги Сергеевны, “расстроенным после родов” их дочери [2, с. 347]. По существу же крымский “образ жизни” семейства Штольц – олицетворение искомого Гончаровым человеческого счастья в четырех его составляющих: нормальной (т.е. гармонической) *семьи*, такой же *деятельности* и такого же *жилища*, наконец, его оптимального природно-географического *местоположения*.

В устройстве своих супружеских взаимоотношений Штольц и Ольга вполне согласились бы с Обломовым: “...страсть надо ограничить, задумишь и утопишь в женитьбе...” [2, с. 160]. Вовсе не чуждые, как показывает развитие их любовного “поединка”, и страстных чувств, Штольц и Ольга тем не менее завершили его, в отличие от Ильи Ильича в его любви к Ольге, браком и полноценной семьей, поскольку плодом их “женитьбы” вскоре стал первый ребенок. Здесь Гончаров солидарен с такими русскими писателями-современниками, как Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Писемский, видевшими смысл и оправдание любви прежде всего в семье и детях, без которых самый нежный эротический союз мужчин и женщины грозит превратиться в “эгоизм вдвоем” (А. Герцен). Как создатели семьи, отвечающей гончаровскому идеалу, Штольцы не копируют су-

ществующие российские и европейские семьи. «Штольц смотрел на любовь и на женитьбу может быть <...> преувеличенно, но во всяком случае *самостоятельно*. И здесь он пошел свободным <...> и простым путем; но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока научился делать эти “простые шаги”» [2, с. 348]. (Здесь и далее в цитируемом тексте романа, за исключением специально оговоренных случаев, курсив наш. – В.Н.) Разделяемая Ольгой семейная “норма” Штольца есть, как и натура этого героя, результат *синтеза* плодотворных начал разнонациональных семей: “От своего отца он (Андрей Иванович. – В.Н.) перенял смотреть на все в жизни <...> не шутя, перенял бы от него и педантическую строгость, которою немцы сопровождают <...> каждый шаг в жизни, в том числе и супружество. <...> Но мать, своими песнями и нежным шепотом, потом княжеский *разнохарактерный* дом, далее университет, книги и свет – все это отводило Андрея от <...> начертанной отцом колеи; русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и из бесцветной таблицы делала яркую, широкую картину” [2, с. 348].

“Трудную школу” наблюдений и размышлений над “нормой” “отношений обоих полов между собою” [1, т. 6, с. 455] Штольц и Ольга не оставляют и после своего бракосочетания – в этом вторая важная особенность их семьи на фоне семей традиционных. “Глядел он (Андрей Иванович. – В.Н.) на браки, на мужей и в их отношениях к женам всегда видел сфинкса с его загадкой, все как будто что-то непонятное, недосказанное; а между тем эти мужья не задумываются над мудренными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным <...> шагом, как будто нечего им решать и искать” [2, с. 349]. И в деле своего супружества Штольцы, напротив, отрицают всякую самоуспокоенность, стремясь, в частности, гармонически разрешить вечное противоречие между началь-

ной пылкой влюбленностью мужа и жены и их позднейшим взаимным охлаждением, а также между физической и духовной близостью (или отчуждением) их друг с другом.

Третьим залогом счастливого семейства Штольцев стало добровольное и желанное для Ольги стремление видеть и находить в муже того интеллектуального и нравственного руководителя, которого она тщетно ждала увидеть в Обломове. Андрей Штольц стал для героини таким руководителем в силу и своей разносторонней образованности (он помимо окончания Московского университета два года провел в немецких, постоянно читает все замечательное на всех европейских языках), житейской опытности и той “мыслительной заботы”, которую он издавна посвятил “и сердцу, и его мудреным законам” [2, с. 348]. “Задумывалась она над явлением – он спешил вручить ей ключ к нему” [2, с. 351]. К мужу же обратится Ольга и за разъяснением причин своей “тоски” в восьмой главе четвертой части “Обломова”.

Глубокому духовно-нравственному и физическому единению Ольги и Штольца, при котором “два существования, ее и Андрея, *слились* в одно русло; разгула диким страстям быть не могло: все у них было гармония и тишина” [2, с. 351], содействует их обоюдный, часто и совместный, труд – деятельность ума и души, занятых “неумолкающей, волканической работой” [2, с. 353], в особенности отличающей Ольгу, но приносящей равное творческое удовлетворение обоим. И если “снаружи и у них делалось все, как у других” (“Вставали они хотя не с зарей, но рано; любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой... как все, как мечтал и Обломов...” [2, с. 351]), то не было в их жизни ни сладкой, ни даже поэтической лени, в неразлучной связи с которой виделся Илье Ильичу и в первой, и в начале второй части романа его жизненный идеал. Самые “гармония и тишина” бытия Штольцев исключали духовный застой и ничем “невозмутимый покой” [2, с. 367].

Гармоническому семейству Штольцев и их постоянному духовно-интеллектуальному труду подстать их жилище, в свой черед не похожее на дома (квартиры) как других персонажей “Обломова”, так и традиционные жилища россиян и западных европейцев. “Скромный и невеликий дом” Штольцев, во-первых, находится в Крыму – перекрестке и синтезе многих историко-культурных цивилизаций в единстве их жизнеспособных элементов, одолевших сопротивление времени. Во-вторых, южный берег Крыма – это гармоническая “норма” в самой природе, равно чуждая природно-климатическим крайностям, характеризующих невыносимо жаркие земные тропики и суровейшие края морозного Севера. В-третьих, южный Крым сочетает в себе *горы* как символ

духовных устремлений человека и *море* как поэтический образ открытой и “свободной” (Пушкин) стихии, одинаково дорогих положительным героям “Обломова” (вспомним, что Штольц был чуть ли не одержим путешествиями, Ольга даже в Петербурге жила “в *Морской* улице”, а любовь этих персонажей развивается в Швейцарии, стране гор и озер). В-четвертых, с “галереи” дома Штольцев была видна “дорога в город” как знак живой связи его обитателей с жизнью и многотрудными задачами огромного человеческого мира (от которого всячески прятались обитатели “чуждого края” Обломовки, а затем в своей квартире на Гореховой и в доме Пшеницыной Ильи Ильича Обломова). В целом крымское жилище Штольцев – это материализованное единство природы, человека и лучших достижений цивилизации.

Местоположению “коттеджа” Штольцев соответствует его “наружная архитектура”. “Сеть из *винограда, плющей и миртов* покрывала коттедж сверху донизу” [2, с. 347]. И – интерьер, где помимо “океана книг и нот” присутствует мебель разных стилей, “ветхие картины, статуи с обломанными руками и ногами”, “раздражающие ум и эстетическое чувство” жильцов и свидетельствующие об их отзывчивости на шедевры многих веков и народов, начиная с греко-римской античности [2, с. 347]. Дом Штольцев, таким образом, отнюдь не замкнуто-эгоистический “филистерский раек” [3, с. 155], каким его пытался представить критик Н.Д. Ахшарумов, а, напротив, своего рода маленькая Вселенная, по крайней мере, в ее земном средоточии. Чрезвычайно показательно, что некоторые из особо значимых примет крымского жилища Штольцев “унаследует” от него и то дворянское имение Ольги Ильинской, в котором они поселятся после Крыма. “Оно, – говорит Ольге хлопотавший о его возвращении героине барон фон Лангваген, – невелико, но *местоположение* – чудо! Вы будете довольны. Какой *дом! Сад!* Там есть один павильон, на горе: вы его полюбите. Вид на *реку*...” [2, с. 268].

Достигнув в их крымском быте, казалось бы, вершины счастья, возможного в земном существовании человека, Ольга, а тем самым и Штольц, однако, неожиданно сталкиваются с запросами и вопросами иного – высшего рода и значения: “Ольга чутко прислушивалась, пыталась, но <...> не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет *душа*, а только просит и ищет чего-то, даже будто <...> тоскует, будто ей *мало* было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, *небывалых явлений*, заглядывала *дальше, вперед*...” [2, с. 354]. “Обычно это место (романа. – В.Н.), – отмечает В.И. Мельник, – трактуется в том духе, что Ольга выявляет глубоко скрытанную, но присущую Штольцу “обломовщину” [4, с. 155]. Действительно, вот суждение на эту тему, например, Д.Н. Овсяннико-Куликовского: “Незаурядная сила и яс-

ность ума, цельность натуры, вечное стремление вперед – к разумной деятельности и плодотворной общественной работе – вот те черты, которые ставят Ольгу выше других, даже лучших, женщин ее времени... Личным и семейным счастьем она не удовлетворится. Натура изящно-женственная, она вместе с тем одарена мужским (?) умом и мужским стремлением к делу, работе, борьбе. Спокойная, тихая, счастливая жизнь пугает ее, как признак обломовщины, как болотная тина, грозящая затянуть и поглотить человека» [5, с. 264] (Курсив наш. – В.Н.). Несколькими годами позже Куликовского, но по существу той же причиной объясняет Ольгину тоску Р.В. Иванов-Разумник: «Ольга сама не понимает, что с нею творится, а Гончаров, конечно, не позволяет ей догадаться, что хандра ее есть неизбежная реакция живого человека против мертвящей суши этического мещанства... <...> Ольга задыхается в болоте этического мещанства. Неужели вся ее жизнь пройдет в этой затхлой атмосфере умеренности и размеренности, как раз в то время <...>, когда новая жизнь закипает вокруг? А все это пройдет мимо нее: добродетельного мещанина Штольца величайшие социальные движения могут занимать только теоретически: он не прочь <...> утешить Ольгу чем-нибудь вроде замечательного изречения самого Гончарова, что, мол, “крупные и крутые повороты не могут совершаться как перемена платья, они совершаются постепенно” ... Удовлетворится ли Ольга этой <...> теорией о постепенности крутых поворотов?» [6, с. 275] (Курсив, за исключением слов “о постепенности крутых поворотов”, наш. – В.Н.).

Приведенные и подобные им объяснения Ольгиной тоски отражают лишь общественные устремления критиков периода первой русской революции, но не текст гончаровского романа, так как ни о каких “социальных движениях”, старых или новых, как и об участии в общественных “поворотах”, крутых или постепенных, Ольга в рассказе о своей тоске вовсе не упоминает уже потому, что не имеет их в виду. Оба критика практически ни на шаг не продвинулись в суждении о данном фрагменте произведения от основополагающего для них мнения Добролюбова, который безосновательно придав штольцевскому выражению “мятежные вопросы” смысл радикально-политической борьбы, еще менее основательно утверждал: «он (Штолец. – В.Н.) не хочет “идти на борьбу с мятежными вопросами”, он решается “смирненно склонить голову”... А она (Ольга. – В.Н.) готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии» [7, с. 68].

Не меньшим своеволием по отношению к тексту романа отличается разъяснение указанной “тоски” Н.К. Пиксановым, вообще характерное для гончароведов советского периода. “В

Штольце, – считал Пиксанов, – ее (Ольгу. – В.Н.) не удовлетворяет рассудочность, эгоцентризм, сухой расчет, отсутствие мягкости, душевности, какие она наблюдала у Обломова» [8, с. 152]. Откуда же это видно? “Как я счастлив!” – говорит в “крымской” главе романа Штолец. “Я счастлива!” – дважды, итожа этими словами свое состояние, вторит там ему и его супруга» [2, с. 353, 351, 353].

«На Западе, – фиксирует Е.А. Краснощекова, – не без влияния фрейдизма обращалось внимание на сугубо интимные аспекты <Ольгиного> кризиса: “причина переживаемого Ольгой приступа депрессии – глубокая эротическая неудовлетворенность”, – читаем в книге А. и С. Лингстедов “Иван Гончаров”» [9, с. 331]. Произвольность этого утверждения, фактически уравнивающего одухотворенную и целомудренную героиню “Обломова” с сексуально озабоченной Ульяной Козловой из романа “Обрыв”, едва ли нуждается в особом опровержении. Достаточно сказать, что даже чувственное влечение Ильи Ильича Обломова к Агафье Пшеницыной в своем эротическом проявлении изображено Гончаровым всего лишь однажды (в финальной сцене первой главы четвертой части, где Обломов целует Пшеницыну в шею) и настолько по отношению к обоим участникам сцены деликатно, что не всякий читатель заметит его физиологическую подоплеку.

В последние годы сделана попытка интерпретировать тоску Ольги Ильинской в духе религиозного литературоведения. Так, возражая Добролюбову и его последователям, В.И. Мельник утверждает: “На самом деле как недовольство Ольги, так и ответы, и поведение Штольца указывают на иное. Туманно и поэтически, но Штолец именно в христианском духе объясняет Ольге ее неожиданную грусть. Штолец акцентирует именно запредельное, лежащее за гранью земного, говорит о совершенно естественных порывах человеческой души к Богу... Ольга нашла идеал земной, но тоскует о небесном” [4, с. 155]. Никаких серьезных доказательств в пользу этого вывода уважаемый исследователь, однако, не предоставил. Зачем бы, спрашивается, Штольцу, человеку православного исповедания, *намекать* христианке Ольге о ее порывах к Богу, а не прямо и ясно сказать ей об этом, если дело было именно в таких, угодных и русской православной церкви, и большинству русских читателей того времени порывах? Между тем Штолец, устами которого в данном случае говорит едва ли не сам романист, ссылаясь на байроновского Манфреда, гетевского Фауста, а ранее – и на “Прометеев огонь”, самого Творца упоминает лишь в идиоматическом словосочетании “Дай бог” (“Дай бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни... то хуже” [2, с. 358]). И отчего стремление к Богу, если дело было действительно в нем, Штолец именует “мятежными вопросами” человечества? Что тут мятежного для

любого человека и в особенности для людей верующих, коими являются Ольга и Штольц? Очевидно, объяснение почтенного исследователя — лишь дань умонастроениям определенной части нынешних российских ученых и читателей. Ибо, будь оно верным, Ольга достаточно легко избавилась бы от своей “тоски”, удовлетворив свои “порывы к Богу” и не перешагивая за земную грань, а просто уйдя, как, скажем, тургеневская Лиза Калитина (“Дворянское гнездо”) или лесковская мать Агния (“Некуда”), в монастырь или окружив себя, как толстовская княжна Марья Болконская (“Война и мир”), “божьими людьми”.

Не может убедить нас объяснение Ольгиной тоски, предложенное известным американским гончароведом Вс. Сечкаревым, трактующим это состояние героини как “экзистенциальную скуку, которая охватывает человека в тот момент, когда он достиг абсолютного удовлетворения, как пустоту, которую чувствует современный интеллект, кому доступны все материальные блага, но который не способен найти ответ на коренные вопросы и мучим очевидной бессмысленностью жизни” [10, р. 148–149]. Скуку человека, достигшего “абсолютного удовлетворения”, вряд ли можно назвать экзистенциальной. Скорее — это пресыщение, действительно способное породить не только ощущение жизненной бессмысленности, но и нежелание жить. Случаи, когда люди, обеспеченные всем в жизни, кончали самоубийством, не так уж редки. Но разве Ольга, пожелавшая в своей счастливой жизни неких “небывалых явлений, заглядывавшая далеко вперед”, свидетельствует этим о своем жизненном пресыщении? И разве она, которой “будто мало” достигнутого счастья, считает себя абсолютно удовлетворенной?

Тот же Вс. Сечкарев, говоря о четвертой части “Обломова”, совершенно справедливо заметил: это “самая восхитительная и самая *метафизическая* часть романа” [10, р. 145]. Впрочем, метафизический (в значении *онтологический, философский*) уровень текста — свойство всего романа в целом, как и всей романной “трилогии”. В той или иной мере метафизичен каждый из ее персонажей, потому что всегда ориентирован на *архетип*, литературный (Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана, Фауста, Тартюфа, Чацкого, Подколесина, Татьяны и Ольги Лариных, Филемона и Бавкиды и др.) или историко-культурный (Александра Македонского, Платона, Диогена Синопского, Бальтазара, Иисуса Навина, Иисуса Христа и т.д.); метафизичны локусы и ситуации “трилогии”, довлеющие не бытовым и природно-эмпирическим очертаниям, а мифологемам таких гончаровских реалий и понятий, как *усадьба* (дом), *река, озеро* (вода), *переправа и мост, сад и парк, цветы* (кувшинки, сирень, ландыши, резеда, померанцевый букет и др.), кофейная *мельница* Пшеницыной и *чаика*, разбитая Захаром на другой день после расставания Обломова с Ольгой; метафизичны (ибо *мифологич-*

ны) у Гончарова стихии космические (*Солнце, Луна, свет, огонь*, и, напротив, *тьма, мрак, хаос*) и сакральные (ад, чистилище и рай, предстающие в образных аналогах *суеты* и *непробудного сна, пробуждения* и *восхождения* на *гору*, наконец, жизни как постоянного движения-совершенствования). Метафизичны коллизии гончаровских романов, восходящие к “коренным, общечеловеческим” оппозициям *старины* и *новизны, идеализма* и *практицизма, молодости* и *зрелости* (отцов и детей), *жизни-покоя* и *жизни-движения, морали* (веры) и *аморализма* (неверия) и т.д.

Можно утверждать: не редкой и исключительной, а основной разновидностью художественного образа у Гончарова стал образ, тяготеющий к архетипу или мифологеме. При этом — и здесь основное отличие Гончарова, скажем, от Гете, Тургенева или Достоевского — бытийно-метафизическое начало в романах писателя присутствует не непосредственно, в сколько-нибудь отвлеченно-абстрактном виде, а непременно в конкретике быта. Сугубо гончаровская творческая задача состояла в том, чтобы *вместить* и воплотить непреходящий бытийный смысл в, казалось бы, только бытовые картины, “местные” и “частные” характеры. Именно она объясняет как особо долгое (в течение десяти или даже двадцати лет) вынашивание Гончаровым своих романских замыслов, так и резкое расхождение критиков и читателей в восприятии их образов, когда одни видели в них изделия великолепного *жанриста* в духе малых фламандцев (как, например, В.П. Боткин или С.А. Венгеров), а другие (как Д.С. Мережковский) считали их символами.

Лишь в свете вечного и в этом смысле метафизического человеческого устремления и созданной им таковой же коллизии можно правильно понять и тоску Ольги Ильиной в вышеуказанной главе “Обломова”. Устами Штольца Гончаров определяет ее главную причину как неудовлетворенность (“безответность”) порываний “живого раздраженного ума <...> за житейские грани” [2, с. 357]. И Штольцу же доверяет назвать ее источники: *литературно-философские* (они отразились в пафосе гетевского Фауста и байроновского Манфреда из одноименных трагедий), затем *духовно-психологические* (“Это не твоя грусть; это общий недуг человечества”) и более всего — *мифологические* (“Это расплата за Прометеев огонь!”) [2, с. 358]. Рассмотрим их, обратив особое внимание на три понятия: “мятежные вопросы”, “титаны” и “Прометеев огонь”.

Героя драматической поэмы Байрона “Манфред” Штольц поминает одновременно с заглавным героем гетевского “Фауста” не случайно: Манфреда нередко называют романтическим Фаустом. В обоих произведениях, по словам Белинского, поставлены “вопросы о тайнах бытия и вечности, о судьбах личного человека и его отношениях к самому себе и общему” [11, т. 2, с. 115]. Личность вы-

дающаяся, деятельная, Фауст, “неудовлетворенный прожитой жизнью, разочаровавшийся в возможностях науки, стремится познать бесконечное, некий абсолют” [12, с. 423]. На этом пути его ждет целый ряд искушений (разгульной жизнью, любовью, властью, красотой, славой), предложенных ему Мефистофелем в обмен на условие: как только Фауст обретет мгновение (“высший миг”), которое он захочет в качестве совершенно прекрасного увековечить, душа его станет принадлежать дьяволу. Обрести абсолютно прекрасное мгновение значит для Фауста ощутить всю полноту земного и космического бытия, т.е. реально достичь Абсолюта, открытого только Высшей небесной силе. И независимо от того, испытает ли Фауст такое мгновение (дело) или нет, а также от того, отдаст ли Высшая небесная власть его душу Мефистофелю или простит его за договор с дьяволом, герой Гете остается – во всяком случае для людей догматического религиозного сознания – человеком “мятежных вопросов” и запросов уже потому, что он не довольствуется уделом, предначертанным людям Творцом и Природой.

В отличие от Фауста, Манфред, мечтавший в юности быть просветителем народов, затем презрел людей и, “дабы противопоставить себя им, овладел тайной бессмертия”, чем как бы уравнился с Божеством. Но и это не принесло ему счастья, “ибо он погубил ту единственную, которую любил, и не в силах воскресить ее”. Придя к убеждению в бесплодности не только добра, зла, знания, но и самой жизни, он, отвергнув и божий, и людской суд, умирает со словами: “Сам себя сгубил, и сам я хочу карать!” [13, с. 251]. Манфред, таким образом, мятежник вдвойне – сначала он уподобил себя Божеству, а затем, как впоследствии философический самоубийца Кириллов из романа Достоевского “Бесы”, абсолютно своевольно распорядился и главным божеским даром человеку – своей жизнью.

Ольга Ильинская, конечно, не выдающийся ученый, как герой Гете, и не романтическая героиня байроновского типа. Но и ее посетили не просто “вековые” (Достоевский) или даже “проклятые”, а именно “мятежные вопросы” человеческого бытия: «“Что ж это? – с ужасом думала она. – Ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нет дороги... Ужели нет, ужели ты совершила *круг жизни*? Ужели тут все... все...” – говорила душа и чего-то не договаривала... и Ольга с тревогой озиравшись вокруг <...> Спрашивала глазами *небо, море, лес*... Нигде нет ответа...» [2, с. 354].

Лишь “мятежностью” овладевших Ольгой вопросов можно объяснить этот **ужас, тревогу** героини в самый момент их прихода. Относя их к “общему недугу человечества”, Штольц квалифицирует его как “грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне...” [2, с. 358, 357]. Какова же она? Главная, издревле мучавшая человечество тайна его

бытия есть тайна человеческой смерти и бессмертия. Это тот вопрос вопросов, ответа на который не дает наука и который лишь при принятии догмата о бессмертии души (но не тела) разрешается для человека религией. Однако, как в данном случае верно заметил Вс. Сечкарев, “Гончаров (добавим, и Тургенев, а также во многом и Л. Толстой. – В.Н.) сознательно отмечает эту возможность для *современного человека*” [10, р. 148–149].

Понятие “современный человек” в русскую классическую литературу было введено автором “Евгения Онегина”, заглавный герой которого стал и первым художественным образцом этого человеческого типа. К нему Лермонтов отнесет своего Григория Печорина, Тургенев – главных мужских персонажей своих повестей 1850-х годов (“Переписки”, “Фауста”, “Аси”, “Поездки в Полесье”), а Достоевский – Родиона Раскольникова, инженера Кириллова, Ивана Карамазова. Типологически отчасти родственны этому человеку и Дмитрий Оленин, Андрей Болконский, Пьер Безухов и Дмитрий Нехлюдов Л. Толстого. При всех индивидуальных различиях между героями этого типа, а также их человеческих недостатках (себялюбии или душевной сухости, мечтательности в сочетании со скепсисом и неверием) все они отмечены максимализмом *личностных* запросов и поистине космических притязаний. Уже Евгений Онегин страстно обсуждает с Ленским не только “Племен минувших договоры, / Плоды наук, добро и зло”, но и “Гроба тайны роковые”, жизнь и судьбу людскую. А главные лица тургеневских повестей будут, отвергая обычное, доступное человеку счастье, стремиться к “*бессмертному счастью*”, “счастью *потоком*”, “*безмерному*, где-то существующему счастью” [14, Соч., т. 5, с. 28, 139; т. 7, с. 96] (Курсив наш. – В.Н.).

А что, если и Ольга, недаром вопрошающая не одни земные море и лес, но и небо, также не довольствуется традиционным ответом на проблему человеческого бессмертия? Что, если и она, как ранее Фауст и Манфред, пожелала целостного, и душой и телом, сопряжения-слияния не только с любимым супругом, детьми, окружающими ее людьми, но и со стихиями космическими, с самой Вселенной? Случайно разве ее душа “заглядывала дальше, вперед” от земного жизненного круга или, как говорит Штольц, “за житейские грани”? Что, если и Ольга возжелала не одного духовного, но и *физического* бессмертия и тем самым Абсолюта?

Ведь это она еще в период безоблачных отношений с Ильей Ильичем интересовалась “двойными звездами” [2, с. 190], она благодарно воспринимала рисуемую ей Штольцем “*бесконечную, живую картину знания*” как “творимый ей *космос*” [2, с. 353]. Это ей, как никому более в романе, присуща поистине неумная жажда жизни. “Я не состареюсь, не устану жить никогда” [2, с. 288], – говорит Ольга даже в мучительный для

нее момент разрыва с Обломовым. “Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарелась?” – парирует она одно из замечаний Штольца и в анализируемой сцене из “крымской” главы романа, прибавляя: “Не смей!”. “Она даже погрозила ему” [2, с. 357]. В отличие не только от робкого и маловерного Ильи Ильича, но и самого Штольца, не удержавшегося в той же сцене от опасливого предупреждения супруге (“Смотри, чтоб судьба не подслушала твоего ропота, – заключил он суеверным замечанием, внушенным нежною предосторожностью, – и не сочла за неблагодарность! Она не любит, когда не ценят ее даров” [2, с. 358–359]), Ольга не покорствуется судьбе, над силой которой были не властны даже древнегреческие Олимпийские боги.

Устремленность героини “Обломова” не к гегелевской Абсолютной Идее, бывшей у немецкого мыслителя философской перифразой Всевышнего, а к Абсолюту как земной и космической целостности, как Вселенной, имеет в русской литературе 1860-х годов весьма близкий аналог. А именно – монолог заглавного героя драматической поэмы А.К. Толстого “Дон Жуан” (1862) в свою очередь, во многом созвучной гетевскому “Фаусту”:

А, кажется, я понимал любовь!
Я в ней искал не узкое то чувство,
Которое, два сердца соединив,
Стеною их от мира отделяет.
Она меня роднила со Вселенной,
Всех истин я источник видел в ней,
Всех дел великих первую причину.
Через нее я понимал уж смутно
Чудесный строй законов бытия,
Явлений всех сокрытое начало.
Я понимал, что все ее лучи,
Раскинутые врозь по мирозданию,
В другом я сердце вместе соединив,
Сосредоточил бы их блеск блудящий
И сжатым светом ярко б озарил
Моей души неясные стремленья!
О, если бы то сердце я нашел!
Я с ним одно бы целое составил,
Одно звено той бесконечной цепи,
Которая, в связи со всей вселенной,
Восходит вечно выше к Божеству,
И оттого лишь слиться с ним не может,
Что путь к нему, как вечность, без конца!

[15, с. 205]. (Курсив наш. – В.Н.).

Дон Жуан, трактованный здесь не как традиционный искатель чувственных наслаждений и безбожник, а как тонкий поэт-идеалист и бескорыстный поклонник высокой женской красоты, ищет слияния со Вселенной посредством особого разумения любви как “космической силы, объединяющей в одно целое человека и природу, земное и небесное, конечное и бесконечное и раскрывающей истинное назначение человека” [16, с. 72]. Но и

Ольга Ильинская, отвечая на вопрос Обломова: «“В чем же счастье у вас в любви <...>?”, – повела глазами вокруг, по деревьям, по траве» [2, с. 192], как бы беря их в свидетели того, что ее любовь единит ее и с окружающей природой. А ранее, говоря Илье Ильичу: “Жизнь – долг, обязанность, следовательно, любовь – тоже долг”, – героиня поднимает глаза и к небу, включая тем самым в свою любовь и Вселенную с самим Творцом [2, с. 192].

И другая параллель, уже из западноевропейской литературы, возникает перед нами, когда мы задумываемся над грустью-тоской, казалось бы, вполне счастливой Ольги. Это – Беатриче, прекрасная возлюбленная автора и героя “Божественной комедии” Данте. Ориентации романной “трилогии” Гончарова на “Божественную комедию” Данте посвящена недавняя статья И.А. Беляевой [17]. Напомним лишь, что небесный Рай имеет в ней разные ступени совершенства (по числу небесных райских сфер). От ближайшего к вершине Чистилища неба Луны следует второе небо – Меркурия, затем небо Венеры, небо Солнца, небо Марса, небо Сатурна, небо Звезд, и так до неба кристального (девятого) и неба десятого – Эмпирея. Словом, до тех космических объектов, которыми во времена великого флорентийца оканчивались границы Вселенной. Так вот, Беатриче, встретив Данте еще в земном Рае (ср. с крымским земным раем Ольги), увлекает его с планеты на планету, со звезды на звезду вплоть до последнего райского неба – Эмпирея. И не своего ли Эмпирея, в ее случае – физического слияния с Вечностью, дарующего физическое же бессмертие и ей, и ее любви, быть может, не сознавая того, возжелала героиня Гончарова? За что и расплачивается своей грустью-тоской, которую Штолец (прежде чем указать на мятежных Манфреда и Фауста) называет “расплатой за Прометеев огонь”. И он совершенно прав, если верно понять последствия великого благодеяния, оказанного этим мифическим древнегреческим *титаном* человечеству. Суть его – в даровании людям огня, похищенного с этой целью у Олимпийских богов (Прометей спрятал и передал людям его искру в полых тростнике; отсюда крылатое выражение – “божественная искра”), за что Зевс жестоко карает Прометея. Однако, похитив с Олимпа огонь, бывший дотоле атрибутом только бессмертных богов, Прометей «вселил в людей “слепые надежды”, но не дал им способности предвидеть свою судьбу...» [18, т. 2, с. 338]. И, главное, что скорее всего и подразумевает Штолец, говоря о *расплате* человека за Прометеев огонь, обладание этим огнем пробудило в людях дерзкое (“мятежное”) желание сравняться с богами в бессмертии.

Прометей был первым мятежником-богоборцем, кто своим даром породил у людей “мятежные вопросы” и столь же мятежные запросы. Много позднее, по крайней мере на европейских

читателей Гете и Байрона (в числе которых были, конечно, и положительные герои гончаровского “Обломова”), подобным же образом действовали литературные Фауст и Манфред, по той же причине, видимо, причисленные Штольцем к Титанам [2, с. 358].

Итак, упоминание в анализируемой сцене “Обломова” древнего культурного героя, титана Прометея, тоже подкрепляет наше предположение: Ольга действительно задумалась о тайне человеческой смерти и о праве людей на физическое бессмертие. Иначе говоря, о праве человека стать равным *бесконечной* и *вечной* природе и самой Вселенной, стихии которых для людей античности совокупно олицетворялись древнейшими языческими богами и богоподобными титанами, а в новое время неудержимо влекли к себе взоры таких титанических личностей, как Фауст Гете и Манфред Байрона. Однако для изначально смертных, следовательно, *конечных* людей равенство с бесконечной и вечной природой и Вселенной изначально же невозможно; отсюда “ужас”, “тревога” и “тоска” того из них, кто всем существом своим проникся этим воистину титаническим вопросом и противоречием. Вместе с тем самая способность к *таким* вопросам и запросам (правы Штольц и явно солидарный здесь со своим героем Гончаров!) суть “избыток, роскошь жизни”, которые даются лишь людям, свободным от насущных материальных и социальных забот, ибо эти вопросы и запросы “не рождаются среди жизни обыденной” и посещают лишь избранных, в то время как “толпы идут и не знают” их [2, с. 358].

По мысли Гончарова, Ольга, познавшая “мятежные вопросы” человеческого бытия, постигла и красоту великого *гуманистического дерзания*. А Штольц, объяснивший – со ссылкой на Прометея, Манфреда, Фауста – природу ее грусти, невольно приобщил и Ольгу к их исканиям и дерзаниям. И не оттого ли, выслушав мужа, она, «как безумная, бросилась к нему в объятья и, как вакханка (т.е., будто современница-поклонница языческого бога Диониса-Вакха, знаками которого служили виноград и плющ, покрывавшие крымский коттедж Штольцев. – В.Н.), в страстном забытии замерла на мгновение (не отсылка ли это к “Фаусту” Гете? – В.Н.), обвив ему шею руками» [2, с. 358]?

И по заслугам: ведь проблема жизни и смерти, права человека и на физическое бессмертие высоким метафизическим смыслом окрасила в России XIX века творчество и жизнь таких великих россиян, как Тургенев, Л. Толстой, Достоевский. Так, согласно Достоевскому, современный несовершенный человек, нравственно преобразившись в течение веков по заветам Христа, перейдет из исторического (временного) существования в бытие космическое, чем объединится со своим бессмертным Создателем-Отцом.

Названные русские писатели ныне общепризнанны в мире как художники, ставившие и решавшие коренные, “последние” вопросы о самой природе человека и его назначении на Земле и во Вселенной. Это придавало их духовно-нравственным исканиям поистине неуязвимый интерес. Автор “Обыкновенной истории”, “Обломова”, “Обрыва” обычно не включается в их ряд, что глубоко несправедливо. Думается, настало время устранить эту несправедливость, показав – в преддверии 200-летия со дня рождения Гончарова – его художественную сомасштабность в равной мере и великим соотечественникам – Л. Толстому и Достоевскому, и знаменитым предшественникам – Данте, Сервантесу, Шекспиру, Гете, Байрону.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1977–1980.
2. Гончаров И.А. “Обломов”. Серия “Литературные памятники”. Л.: Наука, 1987.
3. Ахшиарумов Н.Д. “Обломов”. Роман И. Гончарова. 1859 // Роман И.А. Гончарова “Обломов” в русской критике. Л., 1991.
4. Мельник В.И. “Обломов” как православный роман // И.А. Гончаров. Материалы Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск, 1998.
5. Овсянко-Куликовский Д.Н. Илья Ильич Обломов // Роман И.А. Гончарова “Обломов” в русской критике. Л., 1991.
6. Иванов-Разумник Р.В. <Роман И.А. Гончарова “Обломов”> // Роман И.А. Гончарова “Обломов” в русской критике. Л., 1991.
7. Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Роман И.А. Гончарова “Обломов” в русской критике. Л., 1991.
8. Пиксанов Н.К. “Обломов” Гончарова // Ученые записки Московского университета. Вып. 127. 1948.
9. Краснощекова Е. Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997.
10. Setchkarev Vs. Ivan Goncharov. His Life and His Works. Würzburg, 1974.
11. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1959.
12. Макарова Т.В. Фауст // Энциклопедия литературных героев. М., 1997.
13. Хайченко Е.Г. Манфред // Энциклопедия литературных героев. М., 1997.
14. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1978–2002.
15. Толстой А.К. Дон Жуан // Толстой А.К. Избранное. М., 1949.
16. Фришман Л. Глашатай истин вековых // Вопросы литературы. 1971. № 8.
17. Беляева А.И. “Странные сближения”: Гончаров и Данте // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т.66. 2007. № 2.
18. Лосев А.Ф. Прометей // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1972.